

# Петер Каменцинд

**Автор:**

[Герман Гессе](#)

Петер Каменцинд

Герман Гессе

Эксклюзивная классика (АСТ)

«Петер Каменцинд» – одна из самых ранних повестей Германа Гессе. И хотя в этом реалистическом по форме произведении молодой Гессе только начинает нащупывать свой собственный авторский стиль, оно во многом стало ключевым для всего его дальнейшего творчества.

Эта история повествует о «годах странствий и учения» главного героя – крестьянского парня Петера Каменцинда. Юность, учеба, первая любовь и верная дружба, поиск самого себя и лучшей доли, первые горькие разочарования и постепенное обретение жизненного опыта, душевные метания, путешествия и первые же, робкие еще шаги в искусстве – вот то, что составляет содержание этой очень лиричной, отчасти автобиографической повести.

В формате a4.pdf сохранен издательский макет книги.

Герман Гессе

Петер Каменцинд

Hermann Hesse

PETER CAMENZIND

Перевод с немецкого Р. Эйвадиса

Серийное оформление Е. Ферез

Дизайн обложки А. Чаругиной

Печатается с разрешения издательства Suhrkamp Verlag Berlin.

Серия «Эксклюзивная классика»

© Hermann Hesse, 1904

© Перевод. Р. Эйвадис, 2019

© Издание на русском языке AST Publishers, 2019

\* \* \*

Фрицу и Алисе Лёйтхольд посвящается

1

Вначале был миф. Бог, в своем стремлении к самовыражению стихословивший некогда в душах индийцев, греков, германцев, и поныне ежедневно и ежечасно наполняет душу каждого ребенка поэзией.

Я не знал еще, как называется озеро, как называются горы и ручьи моей родины. Но я видел лазоревую озерную гладь, вышитую золотом крохотных солнечных зайчиков, и обступившие ее плотным кольцом крутые горы, и сверкающие снежные зазубрины на их скалистых боках у самых вершин, и крохотные водопады, а у подножия гор веселые покатые луга, усеянные фруктовыми деревьями, хижинами и серыми альпийскими коровами. И так как бедная, маленькая душа моя, объятая ожиданием, была пуста и безмолвна, озерные и горные духи начертали на ней свои прекрасные, великие деяния. Навеки застывшие гребни и кручи повествовали упрямо и благоговейно о далекой эпохе, их породившей и не поскупившейся для них на суровые отметины-шрамы. Они поведали мне о том, как вздувалось и лопалось измученное чрево земли, со стоном и родовой дрожью выталкивая из недр хребты и вершины. Могучие скалы с ревом и грохотом теснились, опережая друг друга, роняли верхушки, ломались на полпути, и горы-близнецы в жестоких схватках друг с другом боролись за место под солнцем, пока одна не побеждала другую, оттеснив ее в сторону и повергнув ее в прах. С тех времен так и застряли там и сям, повиснув высоко в ущельях, отломанные вершины, отброшенные, расколотые скалы, и в каждую оттепель потоки талой воды низвергали огромные, величиной с дом глыбы и либо разбивали их вдребезги, как стекло, либо вгоняли, как гвозди, в мягкие альпийские луга.

Они всегда говорили одно и то же, эти скалистые горы. И понимать их было нетрудно, глядя на их крутые бока, изломанные, пласт за пластом, помятые, растрескавшиеся, покрытые зияющими ранами. «Мы пережили страшные муки, – говорили они. – И страдания наши еще не кончились». Но они говорили это гордо, с ожесточенным выражением на суровом челе, словно старые воины, живущие в обнимку со смертью.

Да-да, именно воины. Я видел, как они боролись с водой и ветром жуткими предвесенними ночами, когда злобный фён с ревом обрушивался на их древние главы, а бурные потоки вырывали свежие куски мяса из их боков. В такие ночи они стояли с затаенным дыханием, набычившись и упрямо расставив корни, угрюмые, озлобленные, и отражали удар за ударом рогами и растрескавшимися, обветренными боками, собрав воедино все силы. И в ответ на каждую нанесенную рану они издавали глухое, леденящее душу рычание, в котором слышны были страх и ненависть, а ужасным стоном их вторили гневным, надломленным эхом даже самые отдаленные бурливые водопады.

Я видел горные луга и склоны и островки земли в расселинах, пестреющие травами, цветами, мхами и папоротниками, которые древняя народная мудрость наделила диковинными, вещими именами. Дети и внуки гор, они жили своей пестрой, беззлобной жизнью, каждый на своем месте. Я осязал их, любовался ими, вдыхал их ароматы и учился называть их по именам. Сильнее и глубже поражали меня деревья. Каждое из них вело свою особую жизнь, обладало своей особой статью и неповторимой формой кроны, отбрасывало свою, лишь на него похожую тень. Они, эти борцы-отшельники, были сродни горам, ибо все они, в особенности те, что стояли ближе к вершинам, вели свою незаметную, но упорную войну за жизнь и рост – с ветрами, ненастями и скудной каменистой почвой. Каждое из них несло свое бремя, каждое упрямо цеплялось за все, что придется, и от этого у каждого из них был свой собственный образ и свои особые раны. Я видел сосны, которым ветер позволил иметь ветви лишь с одной стороны; другие, подобно змеям, обвили своими красными стволами нависшие над кручами обломки скал, так что дерево и камень стали одно целое и помогали друг другу выстоять. Они смотрели на меня, словно грозные воители, внушая благоговейный страх и уважение.

Мужчины и женщины наши тоже были похожи на них: строгие, темноликие, неразговорчивые, а лучшие из них – и вовсе молчуны. Потому-то я и привык смотреть на людей, как на деревья или скалы, задумываться о них и почитать их не меньше, а любить не больше, чем тихие сосны.

Деревушка наша Нимикон раскинулась на треугольном, зажатом между двумя горными выступами косогоре на берегу озера. Одна дорога ведет в расположенный неподалеку монастырь, другая в соседнюю деревню, до которой четыре с половиной часа ходу; до остальных деревень можно добраться только по воде. Деревянные дома наши выстроены все в старом стиле, и возраст их не поддается определению: новых среди них почти нет, а старые домишки хозяева по мере нужды подправляют то с одного, то с другого боку, в этом году половицы, в следующем кусок кровли, а то и просто полбревна или планку, что когда-то была частью обшивки в горнице, а теперь пришла на смену какому-нибудь сгнившему стропилу под крышей; а отслужив свой срок и здесь, сгодится на что-нибудь в хлеву или на сеновале, прежде чем пойти на растопку, на худой конец украсит собой входную дверь. То же происходит и с их обитателями: каждый, как может, играет свою роль до конца, а затем медленно, словно нехотя, отступает назад, в круг ни на что не годных зрителей, и вскоре тихо, незаметно погружается в вечную тьму. Те, кто после долгих лет, прожитых на чужбине, возвращаются обратно, находят здесь все таким же, как оно было прежде, разве что пару состарившихся кровель заново перекрыли да пара

других, поновее, состарилась; прежних старцев, правда, уж нет, но место их заступили другие старцы, живущие в тех же хижинах, носящие те же имена, пасущие ту же самую темноволосую ребятню и лицом и нравом почти не отличающиеся от почивших в Бозе.

Общине нашей недоставало прилива свежей крови и жизненных токов извне. Жители деревушки, народ хлопотливый и крепкий, почти все состоят друг с другом в родстве, и добрых три четверти из них носят имя Каменцинд. Именем этим исписаны многие страницы церковной книги и кладбищенские кресты, оно красуется на дверях домов, выведенное масляной краской или же грубо вырезанное ножом, на повозках, на ведрах в хлеву и на лодках. Над дверью моего отца тоже было написано: «Дом сей выстроен Йостом Каменциндом и женой его Франциской», однако же имелся в виду не отец мой, а прадед; и если мне суждено будет когда-нибудь умереть, не оставив потомства, то я знаю наверное, что старое гнездо наше не опустеет; другой Каменцинд заживет в нем, если, конечно, оно к тому времени еще пригодно будет для жилья.

Несмотря на кажущееся единообразие, здесь, как и всюду, имелись злые и добрые, знатные и безродные, влиятельные и убогие, а на каждого умного приходилось по паре восхитительных глупцов, не считая дурачков и юродивых. Община наша, как, впрочем, и любая другая, была маленьким, но правдивым слепком с человеческого общества, и так как большие и малые, хитрецы и дурни неразрывно связаны были друг с другом узами близкого или дальнего родства, то спесивая строгость и дурашливое легкомыслие часто наступали друг другу под одной и той же крышею на пятки, так что в жизни нашей оставалось довольно места и для глубины, и для комизма человеческих отношений. Правда, над всем этим лежал вечный туман тщательно скрываемой или неосознанной подавленности. Зависимость от природных сил и скудость бытия, полного бесконечных трудов и забот, сообщили нашему и без того стареющему роду некоторую склонность к мрачному глубокомыслию, которое, хотя и подходило как нельзя лучше к грубым, словно высеченным из камня лицам, но не приносило никаких плодов, во всяком случае сладких. Потому-то все и рады были тем двум-трем шутам, которые, будучи людьми тихими и даже серьезными, все же привносили немного цвета в серые будни и частенько давали повод для веселья и насмешек. Когда кто-нибудь из них очередную проделкою вызывал новые пересуды и толки, по морщинистым, коричневым лицам неласковых сынов Нимикона пробегали радостные зарницы, а сама забава всегда была сдобрена щепоткой тонкой фарисейской соли – отрадным сознанием собственного превосходства, тайным ликованием, мол, я-то, слава Богу, застрахован от таких дурачеств и ошибок. К этому множеству стоявших как раз посередине между

праведниками и грешниками и завидовавших и тем, и другим, принадлежал и мой отец. Всякое вновь затеваемое чудачество напрочь лишало его покоя, переполняя сердце его сладким трепетом, и он буквально разрывался между участливым восхищением зачинщиками и жирным сознанием собственной безупречности.

Одним из общепризнанных шутов был мой дядюшка Конрад, который, однако, по уму ничуть не уступал ни моему отцу, ни другим подвижникам благоразумия. Более того, он был даже хитер и к тому же одержим неумемной жаждой творчества, которой вполне могли бы позавидовать его критики. Но конечно же, ни одному из его предприятий не суждено было увенчаться успехом. То, что он, несмотря на неудачи, не вешал носа и не поддавался праздной тоске, а, напротив, затевал все новые и новые дела, обнаруживая при этом до странности легкое чувство в отношении трагикомизма своих предприятий, было, без сомнения, положительною чертою, которую, однако же, считали нелепой чудаковатостью, позволяющей причислить его к бесплатным скоморохам общины. Отношение отца моего к нему выражалось в постоянной борьбе между восторгом и презрением. Каждый новый проект шурина он встречал с неопишным волнением и любопытством, которые тщетно пытался скрывать под хитрой маской иронии и насмешек. Когда же дядюшка, устранив, как он полагал, последние препятствия на пути к успеху, важно задирает нос, отец всякий раз не выдерживал и присоединялся к своему гениальному родичу в расчетливой преданности; затем наступал неминуемый час позора, дядюшка равнодушно пожимал плечами, в то время как отец в гневе осыпал его издевками и оскорблениями, после чего месяцами не удостоивал его даже взглядом.

Это Конраду наша деревушка обязана была зрелищем первого парусника, и главную роль в этом событии довелось сыграть отцовской лодке. Парус и снасти дядюшка мастерски изготовил по гравюрам из старого календаря, а то, что наш скромный челнок оказался слишком узким для парусника, – в конце концов, не дядюшкина вина. Приготовления длились несколько недель; отец мой сгорал от нетерпения, смелых надежд и страха, да и все остальные жители только и говорили о новой затее Конрада Каменцинда.

Это был для нас знаменательный день, когда лодка наконец ветреным августовским утром отправилась в свое первое плавание. Отец, томимый мрачным предчувствием близящейся катастрофы, отклонил предложение принять в нем участие и, к моему великому огорчению, запретил поездку и мне.

Сын булочника Фюсли был единственным спутником творца-мореплавателя. Вся деревня собралась на вымощенной булыжником площадке перед нашим домом и посреди грядок огорода и наблюдала это невиданное зрелище. На озере дул бойкий восточный ветер. Вначале Фюсли пришлось поработать веслами, пока бриз не подхватил лодку и она, гордо раздув парус, не помчалась прочь. Мы проводили ее восторженными взглядами до первого горного выступа, который скрыл ее от наших глаз, и, устыдившись своих ехидных задних мыслей, решили уже было чествовать молодчину Конрада как победителя. Но когда ночью лодка вернулась обратно, паруса на ней уже не было, и моряки наши больше похожи были на утопленников, чем на победителей, а сын булочника сказал сквозь кашель:

– Да, здорово вам не повезло! Еще бы чуть-чуть, и вы бы могли в воскресенье пировать сразу на двух поминках.

Отец потом выстругал две новые планки и заделал пробоину, и с тех пор над голубыми просторами нашего озера уже никогда более не реял ни один парус. Конраду земляки долго еще кричали всякий раз вслед, как только он куда-нибудь торопился:

– Эй, Конрад, что ж ты не поднимешь парус?

Отец мой с грехом пополам проглотил эту горькую пилюлю и долгое время, встречаясь со своим горемычным шурином, отворачивался в сторону и нарочито громко плевал в знак безграничного презрения. Так продолжалось до тех пор, пока Конрад не явился к нему в один прекрасный день со своим противопожарным проектом кухонной печи, принесшим изобретателю несмываемый позор и море насмешек, а отцу моему целых четыре талера чистого убытку. Горе было тому, кто осмеливался напомнить ему об этой истории выброшенных на ветер четырех талеров! Спустя много времени, когда в дом наш в очередной раз пришла нужда, мать проронила ненароком:

– Как пригодились бы сейчас те деньги, так не по-божески промотанные!

Отец побагровел от гнева, но кое-как сдержался и сказал в сердцах:

– Уж лучше бы я их пропил, сразу все в одно воскресенье!

На исходе каждой зимы в деревню врывается фён со своим низким разбойничьим посвистом, который альпийский горец всегда слушает со страхом и трепетом, а на чужбине вспоминает с тоской и иссушающей болью разлуки. Приближение фёна, которому почти всегда предшествуют прохладные встречные ветры, за много часов чувствуют люди и горы, дикие звери и скотина. Его возвещают теплые, низко гудящие струи воздуха. Сине-зеленое озеро мгновенно чернеет и покрывается белым каракулем торопливых пенистых волн. Еще несколько минут назад безмятежно дремавшее, оно вдруг, как штормовое море, начинает злобно биться о берег. Весь ландшафт тем временем, пугливо съезжившись, становится виден как на ладони. На вершинах, обычно предающихся мрачным раздумьям в отрешенной дали, теперь можно без труда пересчитать отдельные скалы, а там, где обычно видны лишь коричневые пятна разбросанных по округе деревень, отчетливо проступают крыши, фасады и окна. Все сбивается в кучу, как испуганное стадо: горы, луга, дома. А потом поднимается устрашающий вой ветра, сопровождаемый содроганиями земли. Волны на озере встают на дыбы под ударами ветра и несутся по воздуху седыми клочьями водяной пыли, а вокруг, в особенности ночью, ни на минуту не смолкает отчаянная битва гор и бури. Вскоре деревни облетают известия о засыпанных ручьях, разрушенных хижинах, разбитых лодках и пропавших без вести мужьях и братьях.

В младенческие годы я боялся фёна и даже ненавидел его. Но позже вместе с отроческим буйством во мне пробудилась любовь к нему, возмутителю, вечно юному, дерзкому драчуну и глашатаю весны. Это были упоительные мгновения, когда он, хмельной от избытка молодых сил и надежд, начинал свой яростный бой, метался со стоном и хохотом среди гор, летел с диким воем по ущельям, пожирал снег и свирепо гнул в три погибели старые жилистые сосны, не обращая внимания на их жалобные вздохи. Постепенно любовь эта становилась осознанней и глубже, и фён превратился для меня в символпряного, волнующе прекрасного, сказочно богатого юга, неиссякаемого источника, дающего начало все новым и новым потокам любви, тепла и красоты, которые, разбившись о горные хребты, растекаются по равнинам прохладного севера, замедляют свой бег и медленно умирают. Нет ничего более странного и прекрасного, чем болезненно-сладостная альпийская лихорадка, хорошо знакомая горным жителям, в особенности женщинам, когда фён сеет бессонницу и щекочет возбужденные чувства. Это юг, сжигаемый страстью, вновь и вновь бурно бросается на грудь пуритански строгому, аскетическому северу и возвещает заснеженным альпийским лугам о том, что совсем близко, по берегам пурпурных озер французской Швейцарии, уже снова зацвели примулы, нарциссы и миндаль.



Потом, как только фён оттрубит в свой охотничий рог и просохнут последние лавины грязи, наступает самая дивная пора. Желтоватые, пестреющие цветами луга блаженно вытягиваются на крутых склонах, горы поднимают к небу свои сверкающие неземной чистотой снежные вершины и ледники, а озеро, как прежде голубое и теплое, вновь отражает солнце и полет облаков.

Все это вполне достойно того, чтобы стать содержанием целого детства, а то и всей жизни. Ибо все это громко и внятно глаголет на языке Бога, которым никогда не дано было овладеть человеку. Тому, кто внимал ему в детстве, уже никогда не забыть его могучее, сладостное и устрашающее звучание, не освободиться от его колдовской власти. Выросший среди гор человек может годами изучать философию или *historia naturalis* и сколько угодно доказывать, что никакого Господа Бога вовсе и нет, – но стоит ему только вновь почувствовать дыхание фёна или услышать, как трещит лес под тяжестью снежной лавины, как он тут же вспоминает о Боге и о смерти.

К домику моего отца примыкал обнесенный изгородью крохотный огородец. В нем росли терпкий салат, репа, свекла и капуста, а посреди овощей мать разбила малюсенькую узкую грядку для цветов, на которой бесславно, вопреки всем надеждам, чахли два розовых кустика, куст георгин и горстка резеды. За огородом начиналась еще более крохотная площадка, вымощенная булыжником, которая выходила к озеру. Там, на берегу, стояли две прохудившиеся бочки, несколько досок и длинных колышков, а рядом была привязана наша утлая лодчонка, которую отец раньше каждые два-три года заново латал и смолил. Дни, в которые это происходило, навсегда остались в моей памяти. Это бывало в самом начале лета, обычно после обеда; над огородом порхали желтокрылые лимонницы, греясь в теплых лучах солнца, нежно поблескивало маслянисто-гладкое озеро, голубое и ласковое, мрели в прозрачной дымке вершины гор, а на маленькой площадке крепко пахло смолой и масляной краской. И потом лодка еще долго, до самого конца лета, сохраняла этот терпкий, ядреный аромат. Много лет спустя всякий раз, когда где-нибудь на побережье в ноздри мне ударял своеобразный запах воды, смешанный с ароматом черного душистого варева, перед глазами у меня тотчас же вставала площадка на берегу озера, и я видел отца, в рубахе, с кистью в руке, видел синеватые облачка дыма из его трубки, так уютно, так медленно тающие в мягком, по-летнему ласковом воздухе, видел желтое мерцание мотыльков, робко пробующих свои неокрепшие крылья. В такие дни отец по обыкновению пребывал в непривычном для него безмятежном расположении духа, блаженно насвистывал, то и дело заливаясь трелями, которые у него превосходно получались, а иногда даже, забывшись, выпускал короткий йодлер[1 - Характерные распевы альпийских жителей,

которым свойственны постоянные переходы от низкого грудного голоса к пению фистулой.], но тут же смущенно умолкал. Мать в такие дни обычно готовила к ужину что-нибудь вкусное, и делала она это, думается мне теперь, в тайной надежде на то, что Каменцинд в этот вечер не пойдет в трактир. Увы, надежда ее была несбыточна.

Родители мои, хотя и не утруждали себя чрезмерной заботой о духовном и телесном развитии своего чада, но и не препятствовали оному. Мать с утра до вечера хлопотала по хозяйству, а отца моего, пожалуй, ничто на свете не занимало меньше, чем вопросы воспитания. Ему и без меня вполне хватало мороки с несколькими фруктовыми деревьями, с полоской земли, засаженной картофелем, и заготовкой сена. Однако же примерно раз в две недели, вечером, прежде чем отправиться в трактир, он, не говоря ни слова, брал меня за руку и отводил на сеновал, располагавшийся над хлевом. И там совершался весьма странный карательно-искупительный ритуал: я получал изрядную взбучку, не зная толком, за какие провинности, как, впрочем, не знал этого и сам отец. Это были тихие жертвы у алтаря Немезиды, совершавшиеся без брани с его стороны и без крика с моей, словно безропотная выплата законной дани некоему таинственному божеству. После, по прошествии нескольких лет, я всякий раз, когда при мне говорили о «слепом роке», тут же вспоминал те мрачно-загадочные сцены, и они казались мне самой что ни на есть наглядной иллюстрацией упомянутого понятия. Сам того не подозревая, мой славный родитель следовал скромной педагогике, которой охотно пользуется и жизнь, посылая нам время от времени гром и молнии среди ясного неба и предоставляя нам при этом самим доискиваться до причин наказания и размышлять о том, какими же прегрешениями мы прогневили вышние силы. До подобных размышлений у меня, признаться, дело не доходило никогда или весьма редко; эту выдаваемую небольшими порциями кару я принимал без должного самоиспытания, с равнодушием или тайным упрямством, и радовался в такие вечера, что очередная подать «слепому року» уплачена и следующая экзекуция состоится лишь через две-три недели. Гораздо осознанней я сопротивлялся попыткам моего старика приучить меня к труду. Непостижимая, расточительная природа соединила во мне два противоречивых дара: необычайную телесную силу и столь же необычайную лень. Отец, не жалея сил, старался сделать из меня мало-мальски толкового сына и помощника, я же всеми правдами и неправдами отлынивал от порученных мне работ, а будучи гимназистом, не испытывал ни к одному из античных героев столько сочувствия, сколько к Гераклу, принужденному к тем славным, но тягостным трудам. Пока что, однако, я не знал ничего заманчивее, чем празднично шататься по лугам, среди скал или же вдоль берега.

Горы, озеро, ветер и солнце были моими друзьями, рассказывали мне множество историй, воспитывали меня и были мне долгое время родней и понятнее людей и их судеб. Любимцами же моими, которых я предпочитал и сверкающему озеру, и печальным соснам, и солнечным скалам, были облака.

Назовите-ка мне человека на всем белом свете, который бы лучше знал и крепче любил облака, чем я! Или покажите мне что-нибудь более прекрасное, чем облака! Это и игра, и отрада, это – благословение, Божий дар, это – гнев и мрак преисподней. Они нежны, мягки и безмятежны, как души новорожденных младенцев, они прекрасны, богаты и щедры, как добрые ангелы, они угрюмы, неотвратимы и беспощадны, как вестники смерти. Они то стелются тонкой серебряной пеленой, то плывут мимо, смеясь и сверкая белыми, позлащенными с краев парусами, то величаво покоятся над землей, расцвеченные желтыми, красными и синеватыми бликами. Они медленно крадутся, черные, как закутанные в плащи убийцы, они несутся сломя голову со свистом и гиканьем, словно бешеные всадники, они в печальной задумчивости неподвижно висят на бледном небосводе, одинокие, словно отшельники. Они принимают формы дивных островов и благословляющих ангелов, они напоминают грозящие десницы, трепещущие паруса или странников-журавлей. Они парят меж небесной твердью и бедной землей, словно прекрасный образ всей совокупной человеческой тоски, причастные и к тому, и к другому, – мечты грешной земли, в которых она прижимает запятнанную душу свою к чистому небу. Они суть вечный символ всех странствий, всех поисков, всех желаний и тоски по отчужденному дому. И так же, как облака, томимые робостью, бесприютной тоской и упрямством, блуждают между небом и землей, – так же, томимые той же робостью, той же бесприютной тоской и тем же упрямством, блуждают души людей между временем и вечностью.

О облака, прекрасные, плывущие вдаль неутомимые странники! Я был несмышленным мечтателем и любил их, любовался на них и не знал, что и сам поплыву таким же облаком по небосводу жизни, всем чужой, странник, парящий между временем и вечностью. С детских лет они были мне верными друзьями, братьями и сестрами. Я и шагу не мог ступить, чтобы не кивнуть им, не поприветствовать их, и они отвечали мне тем же, и мы молча радовались нашему тайному союзу. Я никогда не забывал и то, чем они наполняли мою душу: эти формы, эти краски, эти черты, эти игры, танцы, хороводы и сны, эти их странные небесно-земные истории.

Особенно историю снежной принцессы. Действие ее происходит в горах, в предзимье, когда снизу дуют теплые ветры. Снежная принцесса, спустившись с немыслимых высот со своей небольшой свитой, располагается в одной из просторных ложбин или на широкой горной вершине, чтобы передохнуть. Коварный норд-ост завистливо поглядывает на утомленную принцессу, подкрадывается сзади, жадно облизывая скалы ледяным языком, и внезапно бросается на нее, захлебываясь от злобного рыка. Он швыряет ей в лицо клочья растрепанных туч, осыпает ее бранью и насмешками, норовит прогнать ее прочь. Некоторое время встревоженная принцесса выжидает, терпеливо сносит его дерзости, а иногда и в самом деле возвращается назад в свою недоступную высь, тихо покачивая головой с насмешливой укоризной. Но иногда она вдруг скликает своих оробевших спутниц, открывает свой ослепительный, царственный лик и отбрасывает от себя злобного карлика холодной рукой. Тот трусливо поджимает хвост, жалобно воет и убегает прочь. А она вновь величественно возлежит на своем ложе, укутавшись бледным туманом, и, когда туман рассеивается, взору предстают сверкающие, одетые в чистые, мягкие снега вершины и впадины. В этой истории было что-то особенно возвышенное, что-то о душе и торжестве красоты, что-то такое, от чего маленькое сердце мое переполнялось восторгом и сладким ощущением пленительной тайны.

Вскоре пришла пора, когда я смог приблизиться к облакам, оказаться в самой их гуще, а на некоторые из них даже посмотреть свысока. Мне исполнилось десять лет от роду, когда я вступил на свою первую вершину, Зеннальпшток, у подножия которого приютилась наша деревушка Нимикон. В тот день мне впервые открылись ужасы и красоты горного мира. Темные глотки ущелий, полные льда и талой воды, бутылочно-зеленые спины ледников, отвратительные морены, а над всем этим – круглый высокий купол небес. Тот, кто десять лет прожил на крохотном клочке земли, стиснутом с двух сторон горами и озером, в окружении высоких вершин, никогда не забудет тот миг, когда над головой у него впервые разверзлась широкая голубая бездна, а перед глазами раскинулся бескрайний горизонт. Еще только поднимаясь наверх, я уже был поражен тем, что все эти скалы и утесы, казавшиеся снизу такими маленькими, на самом деле огромны. И вот, весь во власти мгновения, я со страхом и ликованием увидел эти чудовищные просторы. Вот, оказывается, как сказочно велик этот мир! Наша деревушка, затерянная где-то далеко внизу, была всего лишь маленьким светлым пятнышком. А вершины, которые при взгляде из долины можно было принять за близких соседей, отделяли друг от друга многие часы пути.

И тогда во мне шевельнулось предчувствие, что жизнь пока что одарила меня лишь ленивым прищуром, ни разу не удостоив открытого взора, что где-то за

пределами моего крохотного мирка, быть может, рождаются и рушатся горы и происходят другие великие события, весть о которых никогда даже не коснется легким крылом нашего глухого горного захолустья. И в то же время во мне что-то задрожало, подобно стрелке компаса, и жадно потянулось к этой великой дали. Лишь теперь мне до конца стали понятны красота и тоска облаков, когда я увидел, по каким бесконечным просторам совершали они свои странствия.

Оба моих взрослых спутника, устроившись отдохнуть на ледяной вершущке, похвалили меня за ловкость и терпение во время подъема и добродушно посмеялись над моей безудержной радостью. Я же, едва оправившись от изумления, испустил торжествующий вопль, словно вырвавшийся на свободу молодой бык, весь дрожа от возбуждения. Это была моя первая, нечленораздельная песнь красоте. Я ожидал услышать в ответ могучее эхо, но крик мой бесследно канул в невозмутимые выси, как слабый птичий пересвист. Смутившись, я пристыженно смолк.

Этот день словно растопил какой-то лед в моей жизни. Ибо с тех пор одно событие опережало другое. Вначале меня стали брать с собой во всякие поездки по горам, даже в самые тяжелые, и я со странным, щемящим сладострастием проникал в великие тайны горного царства. Потом мне доверили пасти деревенских коз. На одном из склонов, куда я гонял своих четвероногих, я облюбывал себе защищенный от ветра уголок, сплошь заросший синей горечавкой и красной камнеломкой. Это было мое самое любимое место на всем белом свете. Деревня оттуда была не видна, да и озеро тоже заслоняли скалы, оставляя лишь узкую блестящую полоску, зато там жарко горели цветы, брызжа в глаза своими смеющимися, сочными красками; синее небо, словно крыша шатра, покоилось на остроконечных белоснежных вершинах, а нежный перезвон козьих колокольцев мелодично вплетался в несмолкающее лopotание недалекого водопада. Я лежал на солнце, без устали дивясь на плывущие мимо белые облака и напевая вполголоса йодлеры, пока козы, поощряемые бездеятельностью разомлевшего пастыря, не принимались за свои дерзкие проделки и недозволенные игры. Сия феакийская идиллия кончилась после первых же двух-трех недель, едва успев начаться, когда я вместе с отбившейся от стада козой сорвался в глубокую расселину. Коза разбилась насмерть, а моя голова изобиловала шишками и ссадинами; вдобавок ко всему меня нещадно выпороли, из-за чего я удрал из дома, но был, однако, вскоре с причитаниями и увещеваниями возвращен под отчий кров.

Эти первые приключения мои вполне могли бы стать и последними. Я был бы таким образом избавлен от множества хлопот и глупостей, а книжечка эта осталась бы ненаписанной. Рано или поздно я, вероятно, женился бы на какой-нибудь кузине, а может, лежал бы где-нибудь в горах, вмерзшим в ледник. Что, впрочем, тоже было бы не так уж и плохо. Все, однако, обернулось иначе, и не пристало мне сравнивать былое с небылым.

Отец мой хаживал в ту пору на приработки в Вельсдёрфский монастырь. Как-то раз, прихворнув, он велел мне сходить туда и предупредить монахов о том, что он занемог. Я же вместо этого одолжил у соседа перо и бумагу, написал монахам учтливое письмо, вручил его почтальонше, а сам тайком от всех отправился в горы.

На следующей неделе, воротившись в один прекрасный вечер домой, я застал в горнице патера, дожидавшегося автора изящного послания. Сердце мое тревожно сжалось, но он похвалил меня и стал уговаривать отца определить меня к нему в ученье. Обратились за советом к дядюшке Конраду, как раз только что вышедшему из опалы. Тот, конечно же, не задумываясь, с жаром ухватился за мысль о том, что, поучившись, я поступлю в университет и стану ученым и настоящим господином. Отец в конце концов согласился, и в числе опасных дядюшкиных проектов, вроде парусника, противопожарного устройства печи и множества других подобных причуд, таким образом оказалось и мое будущее.

Учение мое началось незамедлительно и с небывалым размахом, особенно по части латыни, священной истории, ботаники и географии.

Мне все это доставляло немало удовольствия, и я, конечно, далек был от мысли о том, что весь этот чужеземный вздор, возможно, будет стоить мне родины и лучших лет жизни. Ведь одной латыни было недостаточно: отец все равно сделал бы из меня крестьянина, даже если бы я наизусть вызубрил всех этих *virii illustres*[2 - Выдающиеся мужи (лат.).] сверху вниз и снизу вверх. Но умный старик ухитрился проникнуть пытливым взглядом на самое дно моего существа, туда, где коренилась моя основная доблесть и опора – непобедимая лень. Я пускался на любые уловки, чтобы уклониться от работы, а добившись своего, убегал в горы, на озеро или, спрятавшись где-нибудь в траве, на солнечном склоне, читал, грезил, а то и просто бездельничал. В конце концов, убедившись в бесплодности своих усилий, отец махнул на меня рукой.

Здесь мне, пожалуй, удобнее всего будет сказать несколько слов о родителях. Мать моя когда-то была красива, но от красоты ее остались лишь крепкая, стройная фигура и очаровательные темные глаза. Она была женщиной высокой, сильной, работающей и молчаливой. Несмотря на то, что по уму она ничуть не уступала отцу, а силою даже превосходила его, она никогда не стремилась властвовать в доме, а предоставила бразды правления мужу. Отец же был среднего роста, хрупкого, почти нежного сложения, обладал живым, сметливым умом и упрямым характером; светлое лицо его было сплошь покрыто крохотными, необычайно подвижными морщинками, а на лбу красовалась короткая вертикальная складка. Она темнела, когда он шевелил бровями, и придавала его лицу страдальческое выражение; казалось, будто он старается припомнить что-то очень важное и уже отчаялся напасть на след нужной мысли. При желании можно было обнаружить в нем некоторые признаки меланхолии, но никто не обращал на это внимания, так как нрав людей в наших краях словно подернут легкой, мутной поволокой, причины которой – долгие зимы, опасности, непрерывная, изнуряющая забота о хлебе насущном и оторванность от большой жизни.

От обоих родителей я унаследовал существенные черты моей природы. От матери скромную житейскую мудрость, добрую порцию доверия к Богу и тихий, молчаливый характер. От отца же – страх перед важными решениями, неспособность мудро распоряжаться деньгами и искусство обильных и обстоятельных возлияний. Последнее пока что еще не давало о себе знать в том нежном возрасте. От внешности отца мне достались глаза и рот, от матери – тяжелая, выносливая походка, крепкое сложение и неумная сила. Отец и вообще вся наша порода наделили меня крестьянским, смекалистым умом, но в придачу я получил и сумрачный нрав вместе со склонностью к беспричинной тоске. Поскольку мне суждено было долго скитаться вдали от родины, среди чужих людей, было бы весьма недурно вместо этого взять с собой в дорогу некоторую подвижность и немного веселого легкомыслия.

Снаряженный всем перечисленным и одетый в новое платье, пустился я в свое странствие по жизни. Родительские дары были мне надежным посохом, ибо с той поры я шагал своею собственной дорогой. И все-таки чего-то мне, похоже, недоставало, чего мне так и не дали ни науки, ни большая жизнь. Я и по сей день могу осилить любую гору, десять часов кряду без усталости шагали или грести, а если понадобится, то у меня достанет силы убить человека голыми руками, – но искусство жизни, как прежде, так и сейчас, остается для меня недоступным. Мое раннее, одностороннее общение с природой, ее растениями и животными мало способствовало развитию во мне социальных навыков, и

сновидения мои до сих пор служат мне странным доказательством моей прискорбной склонности к жизни чисто животной. Мне часто видится во сне, будто я лежу на морском берегу неким животным, чаще всего тюленем, и испытываю при этом столь острое блаженство, что, пробудившись, я вместо радости или гордости за вновь обретенную человеческую ипостась чувствую лишь разочарование.

Я получил обыкновенное воспитание в гимназии, пользуясь правом бесплатного обучения и питания, и должен был стать филологом. Неизвестно почему. Вряд ли найдется более никчемный, более скучный и чуждый мне предмет.

Годы ученичества быстро летели один за другим.

Промежутки между рукопашными битвами и гимназией заполняли тоска по дому, дерзкие мечты о будущем и благоговейное поклонение науке. А в самую сердцевину этих гимназических будней нет-нет да и прокрадывалась моя врожденная лень и приносила мне немало наказаний и неприятностей, пока ее не вытеснял очередной подъем энтузиазма.

– Петер Каменцинд, – говорил мой учитель греческого, – ты твердолобый упрямец и нелюдим и набьешь себе на своем веку еще немало шишек.

Я молча разглядывал жирного очкарика, слушая его речи, и находил его смешным.

– Петер Каменцинд, – говорил учитель математики, – ты гениальный лодырь, и я сожалею, что нет более низкой отметки, чем «нуль». Я оцениваю твои сегодняшние успехи на минус два с половиной.

Я смотрел на него с жалостью, потому что он страдал косоглазием, и находил его скучным.

– Петер Каменцинд, – сказал однажды профессор истории, – ты скверный ученик, но когда-нибудь ты все же станешь историком. Ибо ты ленив, но умеешь отличать великое от ничтожного.



Однако и это не произвело на меня особого впечатления. И вместе с тем учителя внушали мне уважение, ибо я считал их заместителями науки, а перед наукой я испытывал жгучий, священный трепет. И хотя мнение учителей о моей лени было единым, я все же успевал по всем предметам и ровно держался где-то чуть выше середнячков. То, что гимназия и гимназическая наука были только первыми шагами, преддверием, мне было ясно; я ждал того, что будет потом. За этими приготовлениями, за всем этим школярством я надеялся обнаружить мир чистой духовности, неоспоримую, уверенную в своих силах науку, ведущую к истине. Тогда-то, думал я, мне и откроется тайный смысл сумрачных дебрей истории, битв народов и робкого, вопросительного ожидания каждой отдельной души.

Еще сильнее и живее была другая моя страсть. Мне очень хотелось иметь друга.

Среди гимназистов я заметил одного темноволосого серьезного мальчика, на два года старше меня, по имени Каспар Хаури. Он отличался от других степенностью, уверенными, мягкими манерами, по-мужски твердой посадкой головы и молчаливостью. Я месяцами почтительно взирал на него снизу вверх, всюду ходил за ним следом, движимый страстной надеждой, что он наконец заметит меня. Я ревновал его к каждому прохожему, с которым он здоровался, и к каждому дому, в который он входил или из которого неожиданно появлялся. Но я был двумя классами младше его, а он, по-видимому, даже перед своими сверстниками чувствовал свое превосходство. Мы ни разу даже не обмолвились ни единым словом.

Вместо него ко мне привязался, без каких-либо знаков расположения с моей стороны, один маленький, болезненный мальчик. Он был младше меня, робок, лишен каких бы то ни было талантов, но привлекал к себе красивыми, грустными глазами и тонкими, страдальческими чертами лица. Поскольку он был тщедушен и слегка горбат, на долю его выпадало немало обид и насмешек, и он искал защиты у меня, сильного и уважаемого. Вскоре он серьезно заболел и больше уже не мог посещать школу. Я несколько не тяготился его отсутствием, а скоро и совсем забыл про него.

Был в нашем классе белокурый весельчак, мастер на все руки, музыкант, лицедей и паяц. Дружба его досталась мне не без труда, и этот маленький бойкий приятель мой всегда относился ко мне слегка покровительственно. Но как бы то ни было, у меня наконец-то появился друг. Я изредка навещал его, прочел вместе с ним в его маленькой комнатке несколько книг, выполнял за

него задания по греческому, а он помогал мне за это по арифметике. Иногда мы вместе отправлялись гулять и, должно быть, выглядели при этом как медведь и заяц. Он болтал, веселился, острил и никогда не терялся, а я слушал, смеялся и радовался, что у меня такой бесшабашный друг.

Но вот однажды после обеда я неожиданно стал свидетелем очередного веселого представления этого маленького паяца, которыми он часто развлекал товарищей. Стоя в вестибюле гимназии, в кругу зрителей, он только что передразнил одного из учителей и задорно воскликнул:

- А теперь угадайте-ка, кто это!

Он громким голосом прочел несколько стихов из Гомера. При этом он с поразительной точностью копировал меня, мою смущенную позу, мою робкую манеру чтения, мое грубоватое горское произношение и мое характерное выражение сосредоточенности – частое моргание и прищуривание левого глаза. Все это и в самом деле выглядело очень забавно и было передано с безжалостной язвительностью. Когда он, захлопнув книжку, самодовольно внимал заслуженным овациям, я подошел к нему сзади и совершил акт возмездия. Слов у меня не нашлось; все свое негодование, весь стыд и гнев я достаточно красноречиво выразил в одной-единственной сокрушительной оплеухе. Сразу же после этого начался урок, и учитель заметил хныканье и красную, опухшую щеку моего бывшего друга, который к тому же был его любимчиком.

- Кто это тебя так отделал?

- Каменцинд.

- Каменцинд, к доске! Это правда?

- Правда.

- За что ты ударил его?

Ответа не последовало.

- Ты сделал это без всякой причины?

- Да.

Я немедленно подвергся суровой экзекуции, стоически упиваясь блаженством безвинного мученичества. Но так как я не был ни стоиком, ни святым, а был всего лишь мальчишкой-школьником, я после вынесенной кары яростно показал своему врагу язык. Учитель, приведенный этой выходкой в ужас, возмутился:

- Как тебе не совестно! Что это значит?

- Это значит, что вон тот - подлец и что я его презираю. А еще он - трус.

Так закончилась моя дружба с лицедеем. Преемника ему так и не нашлось, и годы отрочества, в пору близящейся зрелости, я провел в одиночестве. И хотя жизненные воззрения мои и отношение к людям с тех пор не раз изменились, ту пощечину я всегда вспоминаю с глубоким удовлетворением. Надеюсь, что и тот белокурый шутник ее тоже не забыл.

Семнадцати лет я влюбился в дочь адвоката. Она была очень хороша собою, и я горжусь тем, что всю свою жизнь влюблялся только в записных красавиц. О муках, выпавших мне на долю из-за нее и из-за других женщин, я расскажу в другой раз. Ее звали Розы Гиртаннер. Она и сегодня еще достойна любви и не таких мужчин, как я.

В то время во мне кипела молодая нерастроченная сила. Я ввязывался вместе со своими товарищами в самые грозные кулачные бои, гордился своей славой первого силача, игрока в мяч, бегуна и гребца, но при всем этом постоянною спутницей моей была тоска. Едва ли это связано было с моею влюбленностью. Это была просто сладостная предвесенняя тоска, которая охватывала меня сильнее, нежели моих сверстников, так что я находил болезненную отраду в печальных грезах, в мыслях о смерти и в пессимистических идеях. И конечно же, нашелся товарищ, одолживший мне «Книгу песен» Гейне в дешевом издании. Это было, собственно, уже не чтение - я попросту вливал свое растаявшее сердце в пустые строки, я страдал вместе с героями, я творил вместе с автором и впадал в лирическую мечтательность, которая, вероятно, в такой же степени подходила к моему облику, в какой манишка подходит поросенку. До этого я не имел ни малейшего представления об «изящной словесности». За Гейне

последовали Ленау, Шиллер, затем Гёте и Шекспир, и бледный призрак литературы вдруг превратился для меня в горячо почитаемое божество.

Со сладким трепетом ощущал я исходившее от страниц этих книг прохладное, прямое дыхание жизни, вечно чуждой подлунному миру и в то же время истинно сущей, волны которой докатились и до моего растроганного сердца, населив его ее удивительными судьбами. В крохотной мансарде, где я неугомонно предавался чтению и куда доносился лишь бой часов с близлежащей колокольни да сухой перестук аистов на крыше, прочно обосновались герои Шекспира и Гёте. Мне открылась божественно-комическая суть человека, загадка его противоречивого, неукротимого сердца, глубокая сущность мировой истории и великое чудо духа, преображающего короткий человеческий век и силою познания возносящего скудное бытие наше на престол необходимого и вечного. Просунув голову в маленькое окошко, я, словно впервые, видел залитые солнцем крыши и узкие улочки, слышал незатейливые звуки труда и повседневной суеты, которые, сливаясь друг с другом, напоминали мерный шорох прибоя, и еще острее ощущал таинственную отрешенность моей населенной величавыми призраками мансарды, словно вдруг переносился в некую прекрасную, волшебную сказку. И чем больше я читал, чем более удивительным и чуждым становился для меня этот вид из окна – эти крыши, переулки и суета будничной жизни, – тем чаще рождалось во мне робкое, стесняющее грудь ощущение: быть может, я наделен даром ясновидения и раскинувшийся предо мною мир ждет, что я открою часть его сокровищ, совлеку с них покров случайного и обыденного и силою поэзии вырву найденное богатство из лап смерти.

Я начал стыдливо, нерешительно сочинительствовать, и постепенно несколько тетрадей заполнились стихами, набросками и коротенькими рассказами. Они не сохранились, да и были, вероятно, отнюдь не шедеврами, хотя и принесли мне немало волнений и тайного блаженства. Критика и трезвая самооценка последовали за этими первыми поэтическими опытами лишь спустя некоторое время, а неизбежное первое, большое разочарование настигло меня уже в последний год учебы. Я уже отрекся от многих своих литературных первенцев и вообще смотрел на свою писанину с возрастающим недоверием, когда в руки мне случайно попалось несколько томиков Готфрида Келлера, которые я тотчас же прочел – и два, и три раза подряд. И тут, озаренный внезапным прозрением, я понял, как далеки были мои незрелые фантазии от настоящего, аскетически строгого, истинного искусства, сжег свои стихи и рассказы и, преодолевая жестокие муки похмелья, трезво и печально взглянул на жизнь.

Если говорить о любви, то тут я так и остался на всю жизнь недорослем. Любовь к женщине для меня есть некий очищающий культ, упругое пламя, восплаившее из туманности моей тоскующей души, руки, в молитве воздетые к сияющим небесам. Под наитием чувств, связывавших меня с матерью, и своих собственных, неизъяснимых чувств я почитал всех женщин как некий чуждый нам, прекрасный и загадочный род, превосходящий нас врожденною красотой и цельностью души, к которому нам надлежит относиться с благоговением, ибо он, подобно небесным светилам и голубым горным высям, бесконечно далек от нас, а стало быть, ближе к Богу. Поскольку, однако, суровая жизнь и тут всегда оставляла за собой последнее слово, то от женской любви мне доставалось больше горечи, чем сладости; правда, женщины неизменно оставались на своих пьедесталах, моя же торжественная роль коленапреклоненного жреца с необыкновенной легкостью превращалась в постыдно-комическую роль одуроченного шута.

Рози Гиртаннер я встречал почти каждый день по дороге в гимназическую столовую. Это была девица семнадцати лет, с ладною, гибкою фигурой. Узкое, нежно-смуглое лицо ее дышало тихой одухотворенной красотой, которую еще не утратила с возрастом и ее мать и которая досталась обеим по наследству от бабок и прабабок. Этот старинный, знатный и обласканный судьбою род взрастил, поколение за поколением, целую плеяду необыкновенных женщин, кротких, отмеченных изысканным благородством и наделенных свежей, безупречной красотой. Есть портрет молоденькой девушки из семейства Фуггеров, написанный в шестнадцатом веке неизвестным мастером, одна из удивительнейших картин, когда-либо попадавших мне на глаза. Такими приблизительно и были гиртаннерские женщины; такою же была и Роза.

Всего этого я тогда, конечно, еще не знал. Я только видел, как она идет по улице, исполненная кроткого достоинства, и упивался скромным благородством ее светлого облика. Всякий раз после этого я долго сидел в сумерках, упорно пытаюсь отчетливо представить себе ее образ, и, когда мне это наконец удавалось, мальчишечья душа моя сладко сжималась и словно покрывалась гусиною кожей. Однако вскоре эти мгновения блаженства были омрачены, а затем и вовсе обратились в жестокие муки.

Я осознал вдруг, что я чужой для нее, что она не знает меня и никогда не спросит обо мне и что в радужных грезах своих я уподобляюсь вору, тайно крадущему эту благословенную красу. И именно в те минуты, когда я ощущал это особенно остро и болезненно, образ ее представал перед мысленным взором моим с такою яркостью, таким животрепещущим, что в груди моей вздымалась темная, горячая волна и, затопив сердце, разливалась по жилам нестерпимым огнем.

Днем волна эта нередко настигала меня во время урока или в самый разгар кулачной битвы. И тогда я закрывал глаза, руки мои бессильно опускались, и мне казалось, будто я неудержимо скольжу в некую теплую бездну, пока голос учителя или удар противника не приводил меня в чувство. Я тотчас уединялся, выбегал на улицу и, изумленный, весь во власти причудливых грез, не узнавал окружающий меня мир. Я словно впервые видел его красоту, многоцветье, видел, как свет и дыхание жизни пронизывают все предметы и вещи, видел прозрачную зелень реки и кирпичный румянец крыш, и горную синеву. Эта обступившая меня красота не могла, однако, рассеять моей тоски, я просто любовался ею с тихой печалью. Чем прекраснее была увиденная мною картина, тем отчужденней казалась она мне, стороннему зрителю, не имеющему к ней никакого отношения. Мои тягостные мысли вскоре пробивали себе дорогу сквозь эту картину обратно к Розе: если бы я умер сейчас, она не узнала бы этого, не спросила бы обо мне и не опечалилась бы моей смертью.

И все же я не испытывал потребности быть замеченным ею. Я готов бы совершить ради нее или подарить ей что-нибудь неслыханное и остаться в неизвестности.

И я и в самом деле совершил ради нее немало подвигов. В ту пору как раз начались короткие каникулы, и я был отправлен домой. Там я каждый день являл всевозможные чудеса отваги и ловкости, посвященные Розе. Я поднялся на одну из труднодоступных вершин по самому отвесному склону. Я совершал геройские путешествия по озеру в нашем челноке, проходя на веслах большие расстояния за короткий срок. Возвратившись как-то раз из одной такой поездки, изголодавшийся, с запекшимися от жажды губами, я вдруг неожиданно для себя самого принял решение до вечера не прикасаться ни к еде, ни к питью. Все ради Розы Гиртаннер. Я возносил ее имя и хвалебную песнь своего сердца на самые отдаленные хребты и не расставался с ними, спускаясь в самые угрюмые, избегаемые людьми ущелья.

Тем временем возвращенная в четырех стенах гимназическая юность моя брала свое. Плечи мои широко развернулись, лицо и шея покрылись бронзовым загаром, и по всему телу раскатывались набухающие мускулы.

В предпоследний день каникул я возложил на алтарь моей любви букет цветов, добытых едва ли не ценою жизни. Я знал множество заманчивых склонов, где на узеньких лоскутах земли растут эдельвейсы, но эти болезненно-серебристые цветы без запаха и цвета всегда казались мне бездушными и малопривлекательными. Зато в одной из складок неприступной отвесной скалы, занесенная туда Бог весть каким ветром, одиноко цвела горстка альпийских роз, не менее заманчивых своею недостижимостью. Я должен был достать их! И так как для юности и любви ничего невозможного нет, я в конце концов достиг своей цели, с разодранными в кровь руками и дрожащими от судорожного напряжения ляжками. Для ликующих воплей положение мое было, пожалуй, слишком опасным, но сердце мое пело и плясало от радости, когда я, осторожно срезав жесткие стебли, держал в руках свою добычу. Вниз мне пришлось спускаться спиной к скале, держа цветы в зубах, и одному Богу известно, как я, дерзкий мальчишка, умудрился достичь подножия скалы целым и невредимым. Пора цветения альпийских роз давно миновала, мне достались последние в нынешнем году, еще покрытые почками веточки с нежно алеющими бутонами.

На следующий день я все пять часов своего железнодорожного путешествия не выпускал цветов из рук. Вначале сердце мое гулко колотилось и рвалось в город прекрасной Розы, однако чем больше отдалялось высокогорье, тем сильнее тянула меня обратно врожденная любовь к родным местам. Я по сей день отчетливо помню ту поездку! Зеннальпшток давно уже скрылся из виду; теперь, вершина за вершиной, с сосущей болью отрывая от моего сердца живые частички, опускались за горизонт зубчатые предгорья. И вот все с детства знакомые горные верхушки растворились вдали, и вслед им поплыл из-за спины широкий и низкий светло-зеленый ландшафт. Во время первой моей поездки я ко всему этому остался безучастен. В этот же раз мною овладели тревога, страх и печаль, словно некий судья приговорил меня к бесконечным странствиям по этим плоским землям и к безвозвратному лишению гор и гражданства родины. В то же время я постоянно видел перед собой прекрасное, узкое лицо Розы, такое тонкое, чужое, холодное и безучастное к моим терзаниям, что у меня от горечи и боли перехватило дыхание. За окном вагона проплывали одна за другой веселые, опрятные деревушки с белыми фасадами и стройными башенками церквей; люди входили и выходили, приветствовали друг друга, беседовали, смеялись и шутили, курили трубки и сигары – сплошь жизнерадостные обитатели равнин, прямодушные, ловкие, по-светски обходительные, – а я,

неуклюжий увалень с гор, сидел среди них в немой печали, с ожесточенным лицом. Я чувствовал, что у меня больше нет родины. Я понял, что навсегда оторван от гор и что, однако, никогда не смогу стать таким же, как эти равнинные жители, таким жизнерадостным, таким ловким, таким гладким и уверенным в себе. Среди них всегда найдется кто-нибудь, кто посмеется надо мной, кто-то из них однажды женится на Гиртаннер, кто-то из них всегда будет стоять у меня на пути, всюду поспевая раньше меня.

С такими мыслями я и приехал в город. Наспех поздоровавшись с хозяевами, я поднялся в свою мансарду, открыл ящик и извлек из него большой лист бумаги. Бумага была отнюдь не высшего сорта, и когда я завернул в нее свои розы и перевязал их специально для этой цели привезенной из дома ниткой, сверток совсем не похож был на любовный дар. Я с серьезным лицом понес его к дому адвоката Гиртаннера. Там, улучив момент, я вошел в открытые ворота, осмотрелся в по-вечернему сумрачном подъезде и положил бесформенный сверток на ступеньку широкой господской лестницы.

Никто меня не заметил, и я так и не узнал, получила ли Розы мой анонимный привет. Но я карабкался по отвесной стене, рисковал жизнью, чтобы положить у ее порога веточку роз, и в этом для меня было что-то томительно-сладкое, печально-радостное, возвышенное, что и сегодня еще, как и в тот день, согревает мне душу. Лишь порой, в скорбно-глухие часы усталости духа, эта история с альпийскими розами представляется мне, как и все более поздние мои любовные приключения, обыкновенным донкихотством.

У этой первой любви моей не было конца: она просто отзвенела застенчивым, безответным вопросом вместе с моей ранней юностью и затем молча сопутствовала моим более поздним влюбленностям, словно старшая сестра. Я и сегодня еще вряд ли смог бы вообразить что-либо более возвышенное, чистое и прекрасное, чем та юная, высокородная, кроткая патрицианка. А когда я несколько лет спустя на одной исторической выставке в Мюнхене увидел тот безымянный, загадочно-волнующий портрет девушки из рода Фуггеров, мне показалось, будто это сама воскресшая мечтательная и печальная юность моя смотрит на меня пристально и обреченно своими неисповедимыми глазами.

Между тем я постепенно, не спеша, выпростал свою возмужавшую плоть из тесного кокона отрочества и окончательно превратился в юношу. На моей фотографической карточке того времени запечатлен высокий костлявый крестьянский парень в неказистом гимназическом платье, с тусклыми глазами и



еще не до конца сформировавшимися, грубовато несуразными членами. Лишь в очертаниях головы было что-то не по летам зрелое и устоявшееся. Со странным чувством, похожим на удивление, замечал я в те дни, вчуже, как покидают меня прежние мальчишечьи манеры и ширится в груди смутная радость предвкушения студенчества.

Учиться мне предстояло в Цюрихе, в случае же особых успехов я, по словам моих покровителей, мог рассчитывать на учебный курс в другом университете. Все это представлялось моему внутреннему взору в виде прекрасной классической картины: приветливо-строгая беседка, украшенная бюстами Гомера и Платона; я сижу в ней, склонившись над фолиантами, а вокруг, куда ни взгляни, далеко и отчетливо видны крыши домов, ручьи и озера, горы и лазурные дали. Взгляд мой на жизнь стал трезвее, зато нрав – еще более пылким, и я радовался своему будущему счастью в твердой уверенности, что окажусь достойным этого счастья.

В последний год моей жизни в гимназии я страстно увлекся изучением итальянского языка и первым знакомством со старыми новеллистами, которых избрал темой для будущей самостоятельной работы в цюрихском университете. И наконец настал день, когда я, простившись с учителями и хозяевами комнатки под крышей, упаковал и забил гвоздями свой маленький сундучок и в последний раз украдкой пронес свою сладостно-щемящую тоску мимо окон Розы.

Пора последовавших за этим каникул дала мне отведать горечи жизни и грубо поломала прекрасные крылья моей мечты. Первым огорчением стала болезнь матери. Она лежала в постели, почти ничего не говорила, и даже мой приезд не развеселил ее. Не будучи обидчив, я все же был больно задет, не найдя отклика своей радости и юношеской гордости. Затем отец объявил мне, что хотя и не имеет ничего против моего намерения учиться, но денег на учебу дать не может; если маленькой стипендии будет недостаточно для жизни, мне придется самому позаботиться о том, чтобы заработать недостающие деньги; в моем возрасте он уже ел свой собственный хлеб, и так далее, и тому подобное.

Походы по окрестным местам, скалолазание и гребля тоже в этот раз мало порадовали меня, потому что мне пришлось помогать в хозяйстве и на поле, а в оставшееся от работы свободное время у меня ни к чему не было охоты, даже к чтению. Меня возмущала и одновременно расслабляла нахальная бесцеремонность, с какою примитивная, повседневная жизнь ежечасно заявляла

о своих правах и пожирала тот избыток молодых сил и бодрости, который я привез с собой. Отец мой, впрочем, с облегчением отделавшись от неприятного денежного вопроса, был хотя и грубоват по обыкновению и скуп на слова, но все же по-своему приветлив со мною, однако меня это не радовало. Мне было досадно и обидно также и то, что вся моя гимназическая ученость и мои книги внушали ему всего лишь молчаливое, полупрезрительное уважение. И, наконец, я часто думал о Розе и вновь испытывал то злое, упрямое чувство своей крестьянской неспособности когда-либо стать «светским», уверенным в себе, ловким мужчиной. Я даже всерьез, целыми днями, обдумывал, не лучше ли остаться в деревне и позабыть свою латынь и свои надежды под неослабевающим, серым гнетом скудной деревенской жизни. Измученный, угрюмый, я бродил словно тень и даже у постели больной матери не находил себе ни покоя, ни утешения. Образ той беседки с бюстом Гомера вновь оживал в моем воображении язвительной усмешкою, и я уничтожал его, изливая на него всю свою злость и враждебность истерзанной души. Недели тянулись невыносимо медленно, так что казалось, будто мне суждено растратить всю свою молодость на эти муки отчаяния и раздвоенности.

Если я удивлен был и возмущен той быстротой и основательностью, с какою жизнь разрушила мои счастливые грезы, то вскоре мне пришлось удивляться тому, как внезапно и властно были оборваны и эти нынешние мучения. Жизнь, явившая мне вначале свою серую, будничную сторону, теперь неожиданно открыла моему изумленно-испуганному взору свои вечные глубины и возложила на плечи моей юности бремя простого, но великого опыта.

Однажды на исходе душной летней ночи, мучимый жаждой, я поднялся с постели и отправился в кухню, где всегда стояла кадка со свежей водой. В спальне родителей, через которую мне нужно было пройти, меня остановили стоны матери, показавшиеся мне странными. Я подошел к ее постели и тихо окликнул ее, но она не видела меня, не отзывалась и продолжала стонать, тихонько, сухо и испуганно; полуопущенные веки ее подрагивали, лицо было иссиня-бледным. Это меня не очень испугало, хотя по спине моей пробежал легкий холодок. Но потом внимание мое привлекли ее руки, лежавшие поверх простыни, неподвижные, чем-то похожие на двух спящих сестер. По этим рукам я понял, что мать умирает, ибо в их неподвижности была такая смертельная усталость и покорность, какую можно увидеть только у умирающего. Позабыв про жажду, я опустился на колени у постели матери, положил ей руку на лоб и попытался поймать ее ускользящий взгляд. Когда мне это удалось, я не прочел в глазах ее мучений, они были исполнены мира, но должны были вот-вот погаснуть. Мысль о том, что надо разбудить отца, жесткое дыхание которого я

слышал совсем рядом, не пришла мне в голову. Так я и простоял на коленях почти два часа, глядя, как мать принимает смерть. Она приняла ее тихо, серьезно и мужественно, как и подобало ее характеру, и явила тем самым мудрый пример для меня.

Объятая тишиной комнатка медленно заполнялась светом нарождающегося дня; деревня еще спала, и ничто не мешало мне провожать эту покидающую земной мир душу, мысленно тянуться за ней, воспарившей над кровлями домов, над озером и снежными вершинами, в холодный, чистый эфир предутреннего неба. Боли я почти не чувствовал, ибо не помнил себя от благоговейного изумления, в которое повержен был открывшимся мне великим таинством смерти, зрелищем замкнувшегося на моих глазах с легкой дрожью жизненного круга. А в мужественной безропотности умирающей было столько величия, что и в мою душу упал прозрачный, холодноватый луч из тусклого нимба над этой тихо закатившейся жизнью. То, что рядом спал отец, что не было в эти минуты священника, что возвращение души на небо происходило без причастия и освящающей молитвы, меня не заботило. Я чувствовал лишь, как струится сквозь сумрак спальни и обволакивает все мое существо леденящее дыхание вечности.

В последний миг, когда глаза матери уже померкли, я первый раз в жизни прикоснулся губами к ее холодеющим, вялым устам. И странно-чужие холодные уста эти обожгли меня внезапным ужасом; я присел на край постели и заметил, что по щекам моим медленно, одна за другой, катятся крупные слезы и, сорвавшись с подбородка, падают мне на руки.

Вскоре после этого проснулся отец, увидел меня сидящим на постели и спросил заспанным голосом, в чем дело. Я хотел ответить ему, но не смог произнести ни звука, молча вышел из спальни, с трудом, как во сне, добрался до своей комнаты и медленно, сам того не сознавая, принялся одеваться. На пороге показался отец.

– Мать померла, – промолвил он. – Ты знал это?

Я кивнул.

– Почему же ты меня не разбудил? И священника не было!.. Чтоб тебе!.. – он разразился страшным проклятием.

Тут в голове моей словно вдруг болезненно лопнул маленький кровеносный сосуд. Я подошел к отцу, схватил его за обе руки – по силе он был против меня ребенком – и посмотрел ему в глаза. Сказать я в тот миг ничего не мог, но он вдруг затих и обмяк, и, когда мы с ним вместе вновь вошли в спальню к матери, он тоже наконец проникся величию смерти, и лицо его сделалось чужим и торжественным. Потом он склонился над покойной и тихонько, по-детски жалобно запричитал слабым, тоненьким голосом. Я отправился к соседям, чтобы сообщить им о смерти матери. Они молча выслушали меня, молча пожали мне руку и без лишних слов предложили свою помощь нашему осиротевшему дому. Один из них поспешил в монастырь за священником, а когда я вернулся домой, в хлеву, у нашей коровы, уже хлопотала соседка.

Пришел священник, собрались почти все женщины деревни; все шло своим чередом, как положено, и получалось словно само собою, даже гроб появился без нашего участия, и я впервые подумал: как хорошо во время жизненных невзгод иметь над головою отчий кров и ощущать свою принадлежность маленькой, надежной общине близких людей! Впрочем, на следующий день я был уже весьма далек от того, чтобы отождествлять эту мысль с истиной.

Ибо когда гроб был благословлен и предан земле и унылые, старомодные, нелепо торчащие цилиндры вновь исчезли в своих коробках и шкафах, на бедного отца моего обрушился приступ слабости. Он вдруг принялся жалеть самого себя и изливать мне свое горе в вычурных, библейских выражениях, сетовал, что вот, едва успев похоронить жену, он должен лишиться и сына, уезжающего в чужие края. Причитаниям его не было конца; я слушал его с ужасом и почти готов был уже дать старику обещание не покидать его.

Вдруг – когда я уже разомкнул уста для ответа – со мной произошло нечто странное. Внутреннему оку моему внезапно, за одну-единственную секунду, как на ладони, предстало все то, с чем еще в детские годы связаны были мои помыслы, мои заветнейшие мечты и надежды. Я увидел большие, светлые дела, ждущие меня где-то за горизонтом, книги, написанные кем-то для меня, и книги, которые я должен написать для других. Я услышал дыхание фёна, увидел далекие, заповедные озера с живописными берегами, сверкающие по-южному горячими красками. Я увидел людей с умными, одухотворенными лицами, красивых, изящных женщин, увидел дороги и ведущие через горные перевалы альпийские тропы, и манящие в дальние страны стремительные рельсы – все слито воедино и вместе с тем каждый предмет сам по себе, отчетлив и ярко, и за всем этим бескрайние, ясные дали, осененные летучими облаками. Учиться,

творить, созерцать и странствовать – вся полнота жизни блеснула передо мной мимолетной картиной, как бы сквозь влажно-серебристую пелену прищуренных глаз, и вновь, как некогда в детстве, во мне что-то задрожало и потянулось навстречу великой дали, подчиняясь ее могучему зову.

Я промолчал и, не противореча отцу, а лишь покачивая головой, предоставил ему беспрепятственно роптать на свой жребий, в надежде на то, что пыл его в конце концов иссякнет сам по себе. Случилось это, однако, лишь под вечер. И тогда я объявил ему о своем твердом решении учиться и искать себе новую родину в царстве духа и о том, что не намерен обременять его расходами на мое содержание. Он уже более не докучал мне плаксивыми речами, а лишь смотрел на меня жалобно, покачивая головой. Ибо он наконец понял, что отныне я пойду своей дорогой и очень скоро стану ему совсем чужим. Теперь, когда я пишу эти строки и вспоминаю тот вечер, я вновь вижу отца сидящим на стуле у окна. Я вижу его четко очерченную, умную крестьянскую голову, неподвижно застывшую на тонкой шее, его суровые, словно высеченные из камня, строгие черты, короткие седеющие волосы, вижу, как борется в нем упрямая мужская стойкость с болью и подступающей старостью.

Об отце и о моем тогдашнем пребывании под родительским кровом мне осталось рассказать лишь одну коротенькую, но небезынтересную историю.

Как-то раз вечером, в один из последних дней перед моим отъездом, отец надел шляпу и направился к двери.

– Куда ты идешь? – спросил я.

– А тебе что за дело до этого? – ответил он.

– Мог бы и сказать мне, если это не секрет, – обиделся я.

Он рассмеялся и воскликнул:

– Если хочешь, можешь пойти со мной, ты ведь уже не маленький.

И я пошел. В трактир.

Несколько крестьян сидели за кувшином галлавского; двое заезжих кучеров пили полынную водку. Молодые парни за отдельно стоящим столом с преувеличенным весельем и ухарством играли в ясс[З - Швейцарская карточная игра.].

Выпить иной раз бокал вина мне было не в диковинку, но тут я впервые без нужды переступил порог трактира. Я знал, что отец мой слывет бывалым бражником. Он пил много и умело, и поэтому хозяйство его, несмотря на то что его трудно было упрекнуть в нерадивости или лени, всегда было безнадежно чахлым и немощным. Мне бросилось в глаза, с каким уважением встретили отца хозяин трактира и его гости. Он заказал литр ваадтлендского и велел мне наполнить бокалы, поучая меня при этом, как следует разливать вино: вначале нужно держать бутылку низко, над самым краем бокала, постепенно удлиняя струю, а затем вновь опустить горлышко как можно ниже. Затем он принялся рассказывать о разных винах, которые ему довелось отведать и которые он пивал, изредка выбираясь по делам в город или – еще реже – попадая в чужие места. С почтительным уважением поведал он о трех известных ему сортах темно-красного фельтлинского. Потом, понизив голос, проникновенно заговорил о некоторых разновидностях бутылочного ваадтлендского. И наконец, уже почти шепотом и с выражением сказочника на лице, он раскрыл передо мной особенности невшательского: есть будто бы такие сорта этого вина определенного урожая, пена которых принимает в бокале очертания звезды. Он нарисовал эту звезду на крышке стола смоченным указательным пальцем. После этого он, дав волю своей распаленной фантазии, пустился в мечтательные рассуждения о достоинствах шампанского, которого никогда в своей жизни не пробовал и о котором думал, что одной бутылки его достаточно, чтобы двое мужчин свалились под стол, мертвецки пьяные.

Спустя некоторое время он умолк и задумчиво раскурил свою трубку. Заметив, что мне нечего курить, он дал мне десять раппов на сигары. Дымя друг другу в лицо и не спеша прихлебывая из своих бокалов, мы допили первый литр. Желтое пикантное ваадтлендское показалось мне превосходным. Крестьяне за соседним столом вначале нерешительно, затем все смелее вступали в наш разговор и в конце концов осторожно, один за другим, солидно покашливая, перебрались к нам. Вскоре предметом разговора стал и я, и тут выяснилось, что моя скромная слава скалолаза еще не забыта. И полились полные мифического тумана рассказы об отважных восхождениях и неслыханных падениях, достоверность которых с одинаковым жаром оспаривалась и защищалась. Между тем мы уже почти управились со вторым литром, и кровь в голове моей гудела, как тугой ливень. Совершенно вопреки своей натуре я начал громко хвастать и рассказал

между прочим и о том дерзком трюке в верхней части отвесной стены Зеннальпштока, где я добыл альпийские розы для Розы Гиртаннер. Мне не поверили, я клялся и божился, меня подняли на смех, я пришел в ярость. Я предложил каждому, кто мне не верит, помериться со мною силой и заносчиво объявил, что если захочу, то уложу на лопатки всех их, вместе взятых. Тут в разговор вмешался старый кривой мужичонка, который, подойдя к столу, положил на него большой фаянсовый кувшин.

– Послушай-ка, что я тебе скажу, парень, – со смехом произнес он. – Если ты такой сильный – разбей кувшин кулаком и получишь за наш счет столько вина, сколько помещается в этот кувшин. А не сможешь – платить будешь ты.

Отец тотчас же дал за меня согласие. Я поднялся из-за стола, обмотал руку носовым платком и ударил по кувшину. Первые две попытки оказались безуспешными. С третьего удара кувшин развалился на куски.

– Плати! – возликовал мой отец, сияя от гордости.

Старик не возражал.

– Хорошо, – сказал он. – Я плачу за вино, которое поместится в этот кувшин. Только поместится-то в него теперь не так уж и много.

Конечно же, теперь даже в самый крупный черепок не поместилось бы и кружки, так что в придачу к боли в руке мне достались и насмешки. Теперь и отец посмеялся надо мной вместе со всеми.

– Хорошо же! Считай, что ты выиграл! – вскричал я и, наполнив черепок покрупнее из нашей бутылки, вылил вино старику на голову.

Мы опять были на коне, и гости подтвердили нашу победу одобрительным хохотом и громкими возгласами.

Дело, однако, этим не закончилось: ядреные шутки и забавы продолжались еще долго. А потом отец потащил меня домой, и наконец мы с пьяным грохотом ввалились в ту самую комнату, в которой еще каких-нибудь две-три недели назад стоял гроб матери. Я замертво рухнул на постель и утром поднялся

совершенно больной и разбитый. Отец, бодрый и веселый, посмеивался надо мной, очевидно, радуясь своему превосходству. Я про себя зарекся впредь бражничать и с томительным нетерпением стал поджидать день отъезда.

День этот наступил, зарюка же своего я не сдержал. Желтое ваадтлендское, темно-красное фельтлинское, невшательское «звездное» и множество других вин с тех пор вошли в мою жизнь и стали мне закадычными друзьями.

3

Оставив позади пресные, тягостно-скучные небеса родины, я воспарил в лазоревые выси свободы и блаженства. Если жизнь порой и обделяла меня чем-либо, то все же странную, мечтательно-радостную молодостью своей я наслаждался сполна. Подобно юному витязю, прилегшему отдохнуть на опушке цветущего леса, я жил в благостном волнении между борьбою и невинными шалостями; в вещем молчании стоял я, словно провидец, над темными безднами, внимая гулу великих потоков и бурь, и душа моя готовилась постигнуть созвучие вещей и гармонию жизни. Трепеща и ликуя, жадно пил я из наполненной до краев чаши молодости, испытывал в одинокой тиши сладостные муки любви к прекрасным, робко почитаемым мною женщинам и удостоился изысканнейшего из всех видов юношеского счастья – по-мужски радостной и чистой дружбы, которую судьба отмерила мне щедрою мерой.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания



1

Характерные распевы альпийских жителей, которым свойственны постоянные переходы от низкого грудного голоса к пению фистулой.

2

Выдающиеся мужи (лат.).

3

Швейцарская карточная игра.

----

Купить: <https://telnovel.com/ru/german-gesse/peter-kamencind>

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)